

Annotation

Кто-то сказал, кажется, Стендаль: «Если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза». И это решило судьбу книги. Когда она усыпала пол моей комнаты, — листья бумаги валялись обратной стороной, т. е. белым, и было похоже, что это мертвые птицы.

«Воспоминания» — невольная сплетня.

Фаина Раневская

*

Фаина Раневская *

*

Фаина Раневская

Судьба-шлюха

*

Пристают, просят писать, писать о себе. Отказываю. Писать о себе плохо — не хочется. Хорошо — неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манишке.

Все бранят меня за то, что я порвала книгу воспоминаний. Почему я так поступила?

Кто-то сказал, кажется, Стендаль: «Если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза». И это решило судьбу книги. Когда она усыпала пол моей комнаты, — листья бумаги валялись обратной стороной, т. е. белым, и было похоже, что это мертвые птицы.

«Воспоминания» — невольная сплетня.

...Писать должны писатели, а актерам положено играть на театре.

...Наверное, зря порвала все, что составило бы книгу, о которой просило ВТО. И аванс надо теперь возвращать 2т. Бог с ними, с деньгами, соберу, отдам аванс, а почему уничтожила? Скромность или же сатанинская гордыня? Нет, тут что-то другое. Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных.

Я очень хорошо знаю, что талантлива, а что я создала? Пропищала, и только.

Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Кто мучился, когда я сидела без работы? Никому я не была нужна. Охлопков, Завадский, Алекс. Дмитр. Попов были

снисходительны, Завадский ненавидел. Я бегала из театра в театр, искала, не находила. И это все. Личная жизнь тоже не состоялась. ...В театре Завадского заживо гнию.

Иногда приходит в голову что-то неглупое, но и тут же забываю это неглупое. Умное давно не посещает мои мозги.

...В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль за спасение утопающих... У дворника на пиджаке медаль, мне очень она нравится, я хочу такую же, но медаль дают за храбрость — объясняет дворник: Теперь медали, ордена держу в коробке, где нацарапала: «Похоронные принадлежности».

Актрисой себя почувствовала в пятилетнем возрасте. Умер маленький братик, я жалела его, день плакала. И все-таки отодвинула занавеску на зеркале — посмотреть, какая я в слезах.

Всегда завидовала таланту: началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре гимназист — читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергало меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались «Белое покрывало». Кончалось чтение словами: «...так могла солгать лишь мать». Гимназист зарыдал, я была в экстазе.

В городе, где я родилась, было множество меломанов. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих классиков.

В детстве я увидела фильм, изображали сцену из «Ромео и Джульетты». Мне было 12. По лестнице взбирался на балкон юноша неописуемо красивый, потом появилась девушка неописуемо красивая, они поцеловались, от восхищения я плакала, это было потрясение...

Я в экстазе, хорошо помню мое волнение. Схватила копилку в виде большой свиньи, набитую мелкими деньгами (плата за рыбий жир). Свинью разбиваю. Я в неистовстве — мне надо совершить что-то большое, необычное. По полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям: «Берите, берите, мне ничего не нужно...» И сейчас мне тоже ничего не нужно — мне 80. Даже духи из Парижа, мне их прислали — подарки друзей. Теперь перебираю в уме, кому бы их подарить...

Много я получала приглашений на свидания. Первое, в ранней молодости, было неудачным. Гимназист поразил меня фуражкой, где над козырьком был великолепный герб гимназии, а тулья по бокам была опущена и лежала на ушах. Это великолепие сводило меня с ума.

В театральную школу принята не была — по неспособности.

Восхитительная Гельцер устроила меня на выходные роли в летний малаховский театр.

Представляя меня антрепризе театра, Екатерина Васильевна сказала: «Знакомьтесь, это моя закадычная подруга Фанни из перефилии».

Гельцер неповторима и в жизни, и на сцене. Я обожала ее. Видела все, что она танцевала.

Такого темперамента не было ни у одной другой балерины. Гельцер — чудо!

Первым учителем был Художественный театр. В те годы Первой мировой войны жила я в Москве и смотрела по нескольку раз все спектакли, шедшие в то время.

Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбатова Прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея...» После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стена, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены.

Крым. Сезон в крымском городском театре. Голод. «Военный коммунизм». Гражданская война. Власти менялись буквально поминутно. Было много такого страшного, чего нельзя забыть до смертного часа и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит, не сказать ничего. Потому и порвала книгу.

В Крыму, когда менялись власти почти ежедневно, с мешком на плечах появился знакомый член Государственной думы Радаков. Сказал, что продал имение и что деньги в мешке, но они уже не годны ни на что, кроме как на растопку.

В Крыму в те годы был ад. Шла в театр, стараясь не наступить на умерших от голода. Жили в монастырской келье, сам монастырь опустел, вымер — от тифа, от голода, от холеры. Сейчас нет в живых никого, с кем тогда в Крыму мучились голодом, холодом, при копилке.

В самые суровые, голодные годы «военного коммунизма» в числе нескольких других актеров меня пригласила слушать пьесу к себе домой какая-то дама. Шатаюсь от голода, в надежде на возможность выпить сладкого чая в гостях, я притащилась слушать пьесу. Странно было видеть в ту пору толстенькую, кругленькую женщину, которая объявила, что после чтения пьесы будет чай с пирогом. Пьеса оказалась в пяти актах. В ней говорилось о Христе, который ребенком гулял в Гефсиманском саду. В комнате пахло печеным хлебом, это сводило с ума. Я люто ненавидела авторшу, которая очень подробно, с длинными ремарками описывала времяпрепровождение младенца Христа. Толстая авторша во время чтения рыдала и пила валерьянку. А мы все, не дожидаясь конца чтения, просили сделать перерыв в надежде, что в перерыве угостят пирогом. Не дослушав пьесу, мы рванули туда, где пахло печеным хлебом. Дама продолжала рыдать и сморкаться во время чаепития. Впоследствии это дало мне повод сыграть рыдающую сочинительницу в инсценировке рассказа Чехова «Драма». Пирог оказался с морковью. Это самая неподходящая начинка для пирога. Было обидно. Хотелось плакать.

Не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения. Боже упаси. Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах с побледневшими лицами декламировали горьковского «Буревестника», и любила повторять слова нашего земляка Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми. И тогда мы думали, что эта красивая жизнь наступит уже завтра.

Вспомнилась встреча с Максимилианом Волошиным, о котором я читала в газете, где говорилось, что прошло сто лет со дня его рождения. Было это в Крыму, в голодные трудные годы времен Гражданской войны и «военного коммунизма». В те годы я уже была актрисой, жила в семье приютившей меня учительницы моей и друга, прекрасной актрисы и человека Павлы Леонтьевны Вульф.

Я не уверена в том, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Макс Волошин. С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбешки, называемые камсой. Был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом. Была и бутылочка с касторовым маслом, с трудом раздобытая, им в аптеке. Рыбешек жарили в касторке. Это издавало такой страшный запах, что я, теряя сознание от голода, все же бежала от этих касторовых рыбок в соседний двор.

Помню, как он огорчался этим. И искал новые возможности меня покормить.

Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучает голод. В театре митинг, выступает Землячка; видела, как бежали белые, почему-то на возах и пролетках торчали среди тюков граммофон, трубы, женщины кричали, дети кричали, мальчики юнкера пели: «Ой, ой, ой, мальчики, ой, ой, ой, бедные, погибло все и навсегда!» Прохожие плакали. Потом опять были красные и опять белые. Покамест не был взят Перекоп. Бывший дворянский театр, в котором мы работали, был переименован в «Первый советский театр в Крыму».

О Волошине. Среди худуших, изголодавшихся его толстое тело потрясало граждан, а было у него, видимо, что-то вроде слоновой болезни. Я не встречала человека его знаний, его ума, какой-то нездешней доброты. Улыбка у него была какая-то виноватая, всегда хотелось ему кому-то помочь. В этом полном теле было нежнейшее сердце, добрейшая душа. Однажды, когда Волошин был у нас, началась стрельба. Оружейная и пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упростили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату. Утром он принес нам эти стихи — «Красная пасха».

КРАСНАЯ ПАСХА

Зимою вдоль дорог валялись трупы

Людей и лошадей. И стаи псов

Въедались им в живот и рвали мясо.

Восточный ветер выл в разбитых окнах.

А по ночам стучали пулеметы,

Свистя, как бич, по мясу обнаженных

Закоченелых тел. Весна пришла

Зловещая, голодная, больная.

Из сжатых чресл рождались недоноски

Безрукие, безглазые... Не грязь,

А сукровица поползла по скатам.

Под талым снегом обнажались кости.

Подснежники мерцали точно свечи.

Фиалки пахли гнилью. Ландыш — тленьем.

Стволы деревьев, обглоданных конями

Голодными, торчали непристойно,

Как ноги трупов. Листья и трава

Казались красными. А зелень злаков

Была опалена огнем и гноем.

Лицо природы искажалось гневом

И ужасом.

А души вырванных

Насильственно из жизни вились в ветре,

Носились по дорогам в пыльных вихрях,

Безумили живых могильным хмелем

Неизжитых страстей, неутоленной жизни,

Плодили мщенье, панику, заразу...

Зима в тот год была Страстной неделей,

И красный май сплелся с кровавой Пасхой,

Но в ту весну Христос не воскресал.

Симферополь 21 апреля 1921 г.

Сейчас смотрела Качалова в кино. Барон. Это чудо как хорошо. Это совершенство! Я шла домой и думала: ...что сделала я за 30 лет? Что сделала такого, за что мне не было бы

стыдно перед своей совестью? Ничего. У меня был талант, и ум, и сердце. Где все это?

Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге. Прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы мой поэт», — извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты — дарила меня дружбой до конца своих дней.

...Я никогда не обращалась к ней на «ты». Мы много лет дружили, но я просто не могла бы обратиться к ней так фамильярно.

Она была великой во всем. Я видела ее кроткой, нежной, заботливой. И это в то время, когда ее терзали.

...Проклинаю себя за то, что не записывала за ней все, что от нее слышала, что узнала! А какая она была труженица: и корейцев переводила, и Пушкиным занималась...

...Анна Андреевна была бездомной, как собака.

...В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.

— Я буду вашей *madame de Lambaille*, пока мне не отрубили голову — истоплю вам печку.

— У меня нет дров, — сказала она весело.

— Я их украду.

— Если вам это удастся — будет мило.

Большой каменный саксаул не влезал в печку, я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне нечем платить. «А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги что? Деньги это еще не все».

Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне.

— А я сейчас встретила Платона Каратаева.

— Расскажите...

«Спасибо, спасибо», — повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова. У нее оказалась картошка, мы ее сварили и съели.

Никогда не встречала более кроткого, непритязательного человека, чем она...

...В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня».

Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. «Сжала руки под темной вуалью» — это тоже мои Мули», — ответила она. Я закричала: «Не кощунствуйте!»

...У нее был талант верности. Мне известно, что в Ташкенте она просила Л. К. Чуковскую у нее не бывать, потому что Лидия Корнеевна говорила недоброжелательно обо мне.

...Часто замечала в ней что-то наивное, это у Гения, очевидно, такое свойство. Она видела что-то в человеке обычном — необычное или наоборот.

Ахматова не любила двух женщин. Когда о них заходил разговор, она негодовала. Это Наталья Николаевна Пушкина и Любовь Дмитриевна Блок. Про Пушкину она даже говорила, что та — агент Дантеса.

...Мне думается, что так, как А.А. любила Пушкина, она не любила никого. Я об этом подумала, когда она, показав мне в каком-то старом журнале изображение Дантеса, сказала: «Нет, вы только посмотрите на это!» Журнал с Дантесом она держала, отстранив от себя, точно от журнала исходило зловоние. Таким гневным было ее лицо, такие злые глаза...

Мне подумалось, что так она никого в жизни не могла ненавидеть.

Ненавидела она и Наталью Гончарову. Часто мне говорила это. И с такой интонацией, точно преступление было совершено только сейчас, сию минуту.

Говорит, что не хочет жить, и я ей абсолютно верю. Торопится уехать в Ленинград. Я спросила: «Зачем?» Она ответила: «Чтобы нести свой крест». Я сказала: «Несите его здесь». Вышло грубо и неловко. Но она на меня не обижается никогда.

Странно, что у меня, такой сентиментальной, нет к ней чувства жалости или участия. Не шевелятся во мне к ней эти чувства, обычно мучающие меня по отношению ко всем людям с их маленькими несчастьями.

...Не встречала никого пленительней, ослепительней Пастернака. Это какое-то чудо. Гудит, а не говорит, и все время гудит, что-то читая...

Люди, дающие наслаждение, — вот благодать!

Борис Пастернак слушал, как я читаю «Беззащитное существо», и хохотал по-жеребьячи.

Анна Андреевна говорила: «Фаина, вам 11 лет и никогда не будет 12. А ему всего 4 годика».

Из дневника Анны Андреевны: «Теперь, когда все позади — даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то, почти мучительно, проясняется: люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И сколько горьких и даже страшных чувств». Я написала бы все то же самое. Гений и смертный чувствуют одинаково в конце, перед неизбежным.

Будучи в Ленинграде, я часто ездила к ней за город, в ее будку, как звала она свою хибарку:

Читаю этих сволочных вспоминательниц об Ахматовой и бешусь. Этим стервам охота рассказать о себе. Лучше бы читали ее, а ведь не знают, не читают.

А.А. с ужасом сказала, что была в Риме в том месте, где первых христиан выталкивали к диким зверям. Передаю неточно, — это было первое, что она мне сказала. Говорила о том, что в Европе стихи не нужны, что Париж изгажен тем, что его отмыли. Отмыли от средневековья.

5 марта 10 лет нет ее, — к десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи.

Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили... Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее.

Читаю дневник Маклая, влюбилась и в Маклая, и в его дикарей.

Я кончаю жизнь банально-стародевически: обожаю котенка и цветочки до страсти.

...Вот что я хотела бы успеть перечитать: Руссо — «Исповедь», Герцен — «Былое и думы», Толстой — «Война и мир», Вольтер — «Кандид», Сервантес — «Дон-Кихот». Данте. Всего Достоевского.

«Души же моей он не знал, потому что любил ее». Толстой.

Узнала сейчас в газете о смерти Ольги Берггольц. Я ее очень любила. Анна Андреевна считала ее необыкновенно талантливой.

Так мало в мире нас осталось,

что можно шепотом произнести

забытое, людское слово «жалость»,

чтобы опять друг друга обрести.

О. Берггольц

Ахматова говорила: «Беднягушка Оля». Она ее очень любила.

Все мы виноваты и в смерти Марины (Цветаевой). Почему, когда погибает Поэт, всегда чувство мучительной боли и своей вины? Нет моей Анны Андреевны, — все мне объяснила бы, как всегда.

Ночью читала Марину — гений, архигениальная, и для меня трудно и непостижимо, как всякое чудо.

Есть имена, как душистые цветы,

И взгляды есть, как пляшущее пламя,

Есть тонкие извилистые рты

С глубокими и влажными углами.

Есть женщины, их волосы, как шлем,

Их веер пахнет гибельно и тонко.

Им тридцать лет. Зачем тебе, зачем

Моя душа — Спартанского ребенка.

Марина Цветаева

Я помню ее в годы первой войны и по приезде из Парижа. Все мы виноваты в ее гибели. Кто ей помог? Никто.

А. А. часто повторяла о Бальмонте: он стоял в дверях, слушал, слушал чужие речи и говорил: «Зачем я, такой нежный, должен на это смотреть?»

Великая Марина: «Я люблю, чтобы меня хвалили доо-олго».

«Невинные души сразу узнают друг друга». Андерсен.

Сейчас слушала «Карнавал» Шумана по радио. Плакала от счастья. Пожалуй, стоит жить, чтобы такое слушать.

Стук в дверь. Утро раннее, очень раннее. Вскрываю в ночной рубаше.

— Кто там?

— Я, Твардовский. Простите...

— Что случилось, Александр Трифонович?

— Откройте.

Открываю.

— Понимаете, дорогая знаменитая соседка, я мог обратиться только к вам. Звоню домой — никто не отвечает. Понял — все на даче. Думаю, как же быть? Вспомнил, этажом ниже — вы. Пойду к ней, она интеллигентная. Только к ней одной в этом доме. Понимаете, мне надо в туалет...

Глаза виноватые, как у напроказившего ребенка. Потом я кормила его завтраком. И он говорил: почему у друзей все вкуснее, чем дома?

...И еще. Приехал из Италии. «Вы, конечно, начнете сейчас кудяхтать: ах, Леонардо, ах, Микеланджело. Нет, дорогая соседка, я застал Италию в трауре. Скончался Папа Римский. Мне сказали, что итальянские коммунисты плакали, узнав о его смерти. Мы с товарищами решили поехать к Ватикану, но не смогли добраться, т. к. толпы народа в трауре стояли на коленях за несколько километров». И тут он мне сказал:

— Мне перевели энциклику Папы. Ну, какие же у нас дураки, что не напечатали ее.

Сказал это сердито, умиляясь Папе, который призвал братьев и сказал им: «Братья мои, я ничего вам не оставляю, кроме моего благословения, потому что я из этого мира уйду таким же нагим, каким я в него пришел».

Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней. Терплю даже Завадского. Наплевательство, разгильдяйство, распущенность, неуважение к актеру и зрителю. Это сегодня театр — развал. Режиссер — обыватель.

Стыдно публики. Никого из «деятелей»-коллег ничего не волнует. Кончаю мое существование на помойке, т. е. в театре Завадского.

Недавно перечитывала «Осуждение Паганини». Какой ерундой все это представляется рядом с травлей этого гения. (Свердловск, август 1955 года)

Говорят, черт не тот, кто побеждает, а тот, кто смог остаться один. Меня боялся.

Завадскому снится, что он уже похоронен на Красной площади.

Пипи в трамвае — вот все, что сделал режиссер в искусстве.

Блядь в кепочке.

Вытянутый в длину лилипут.

Мне непонятно всегда было: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства.

В театре небывалый по мощности бардак, даже стыдно на старости лет в нем фигурировать. В городе не бываю, а больше лежу и думаю, чем бы мне заняться постыдным. Со своими коллегами встречаюсь по необходимости с ними «творить», они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность...

В старости главное — чувство достоинства, а его меня лишили.

Прислали на чтение две пьесы. Одна называлась «Витаминчик», другая — «Куда смотрит милиция?». Потом было объяснение с автором, и, выслушав меня, он грустно сказал: «Я

вижу, что юмор вам недоступен».

«То, что писатель хочет выразить, он должен не говорить, а писать». Э. Хемингуэй.

То, что актер хочет рассказать о себе, он должен сыграть, а не писать мемуаров. Я так считаю.

Среди моих бумаг нет ничего, что бы напоминало денежные знаки.

Долгов — 2 с чем-то тысячи в новых деньгах. Ужас, — одна надежда на скорую смерть.

...Живу в грязном дворе, грохот от ящиков, грязь. Под моим окном перевалочный пункт, шум с утра до ночи.

Куда деваться летом? Некому помочь.

..Поняла, в чем мое несчастье: я, скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая дура» — не лажу с бытом!

Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть.

У всех есть «приятельницы», у меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я.

Как унижительна моя жизнь.

«Успех» — глупо мне, умной, ему радоваться. Я не знала успеха у себя самой... Одной рукой щупает пульс, другой играет...

Тамара (Калустян) рассказывала: «Ее знакомый князь Оболенский отсидел в наказание за титул, потом работал бухгалтером на заводе. Выйдя на пенсию, стал сочинять патриотические советские песни, которые исполняет с хором старых большевиков, — поет соло баритоном, хор вторит под сурдинку. Успех бурный. Князь держится спокойно, застенчив, общий любимец хора. Аристократ!!»

«У души нет жопы, она высраться не может» — это сказал мне Чагин со слов Горького о Шаляпине, которому сунули валерьянку, когда он волновался перед выходом на сцену. Он рассказал о деловом визите к Горькому. Покончив с делами, Г. пригласил Чагина к обеду. Столовая была полна народу. Горький наклонился к Чагину и сказал ему на ухо: «Двадцать жоп кормлю!»

У моей знакомой две сослуживицы: Венера Пантелеевна Солдатова и Правда Николаевна Шаркун.

А еще: Аврора Крейсер.

В Одессе, в магазине шляп:

«Соня, посмотри, эта дама богиня?»

Соня: «Форменная богиня».

«Эта шляпа сделает вам счастье».

В Столешниковом: «Маня, отпусти даме шляпу».

Маня: «Не могу, я сегодня на кепках».

Еще осенний лес не жалок,

Еще он густ и рыж и ал.

Стихи молодого поэта из Тулы (по радио). О Бог мой, за что мне такое!

Народ у нас самый даровитый, добрый и совестливый. Но практически как-то складывается так, что постоянно, процентов на восемьдесят, нас окружают идиоты, мошенники и жуткие дамы без собачек. Беда!

...Торговали душой, как пуговицами.

Кто-то заметил: «Никто не хочет слушать, все хотят говорить». А стоит ли говорить?

Сняли на телевидении. Я в ужасе: хлопочу мордой. Надо теперь учиться заново, как не надо.

Открыла ящик. Выступал поэт 1 мая 78 года. Запомнила: «Чтоб мой ребенок не робел при виде птиц на небосклоне». И прочие подобные желания, кои не запомнила. О, Господи! За что!

Видела гнусность: «Дядя Ваня» — фильм. Все как бы наизнанку. Бездарно. Нагло, подло, сделали Чехова скучнейшим занудой, играют подло.

Старухи бывают ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки...

Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера!

Я не знаю системы актерской игры, не знаю теорий. Все проще! Есть талант или нет его.

Научиться таланту невозможно, изучать систему вполне возможно и даже принято, может быть, потому мало хорошего в театре.

«Усвоить психологию импровизирующего актера — значит найти себя как художника». М. Чехов. Следую его заветам.

Болею, сердце, 76 год, холодный май.

Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца.

Странно — абсолютно лишенная (тени) религиозной, я люблю до страсти религиозную музыку. Гендель, Глюк, Бах!

...Наверное, я чистая христианка. Прощаю не только врагов, но и друзей своих.

«Перед великим умом склоняю голову, перед Великим сердцем — колени». Гете.

И я с ним заодно. Раневская.

Из Парижа привезли всю Тэффи. Книг 20 прочитала. Чудо, умница.

Перечитываю Бабеля в сотый раз и все больше и больше изумляюсь этому чуду убиенному.

80 лет — степень наслаждения и восторга Толстым. Сегодня я верю только Толстому. Я вижу его глазами. Все это было с ним. Больше отца — он мне дорог, как небо. Как князь Андрей. Я смотрю в небо и бываю очень печальна.

«Чем затруднительнее положение, тем меньше надо действовать». Толстой.

«Писать надо только тогда, когда каждый раз, обмакивая перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса». Толстой.

«Просящему дай». Евангелие. А что значит отдавать и не просящему? Даже то, что нужно самому?

...Сейчас, когда так мало осталось времени, перечитываю все лучшее и конечно же «Войну и мир». А войны были, есть и будут. Подлое человечество подтерлось гениальной этой книгой, наплевало на нее.

Перечитываю уход Толстого у Бунина. ...”Место нечисто ты есть дом”. Так говорил Будда.

После того как все домработницы пошли в артистки, вспоминаю Будду ежесекундно!

Сказано: сострадание — это страшная, необузданная страсть, которую испытывают немногие. Покарал меня Бог таким недугом.

...Сострадаю Толстому, да и Софье Андреевне заодно. Толстому по-другому, ей тоже по-другому...

В общем, «жизнь бьет ключом по голове» — так писала восхитительная Тэффи.

Более 50 лет живу по Толстому, который писал, что не надо вкусно есть.

...Он мне так близок, так дорог, так чувствую его муки, его любовь, его одиночество...

Бедный, ведь он искал смерти — эти дуэли...

...Мальчик сказал: «Я сержусь на Пушкина, няня ему рассказала сказки, а он их записал и выдал за свои». Прелесть! Но боюсь, что мальчик все же полный идиот.

...На ночь я почти всегда читаю Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять читаю, потому что снотворное не действует. Я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине.

Если бы я его встретила, я сказала бы ему, какой он замечательный, как мы все его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь... Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью по Тверскому бульвару. Я бегу к нему, кричу. Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал: «Оставь меня в покое, старая б... Как ты надоела мне со своей любовью».

Принесли собаку, старую, с перебитыми ногами. Лечили ее добрые собачьи врачи. Собака гораздо добрее человека и благороднее. Теперь она моя большая и, может быть, единственная радость. Она сторожит меня, никого не пускает в дом. Дай ей Бог здоровья!

Мучительная нежность к животным, жалость к ним, мучаюсь по ночам, к людям этого уже не осталось. Старух, стариков только и жалко никому не нужных.

Меня забавляет волнение людей по пустякам, сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что все пустое. Нужна только доброта, сострадание.

...Весна в апреле. На днях выпал снег, потом вылезло солнце, потом спряталось, и было чувство, что у весны тяжелые роды.

Книжку писала три раза, прочитав, рвала.

Женщина в театре моет сортир. Прошу ее поработать у меня, убирать квартиру. Отвечает: «Не могу, люблю искусство».

Соседка, вдова мосссоветовского начальника, меняла румынскую мебель на югославскую, югославскую на финскую, нервничала. Руководила грузчиками... И умерла в 50 лет на мебельном гарнитуре. Девчонка!

«Глупость — это род безумия». Это моя всегдашняя мысль в плохом переводе. Бог мой, сколько же вокруг «безумцев»!

Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество Бога, когда он позволяет доживать до старости. Господи. Уже все ушли, а я все живу. Бирман — и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела. А только начинаешь жить!

...Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести.

...У них у всех друзья такие же, как они сами, — контактные, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг к другу в гости. Как завидую им, безмозглым!

Весны не было, лета не было. Сижу в Москве — отпуск, скоро ему конец. Скоро конец и мне.

Как жестоко наказал меня «создатель» — дал мне чувство сострадания. Сейчас в газете прочитала, что после недавнего землетрясения в Италии, после гибели тысяч жизней, случилась новая трагедия: снежная буря. Высота снега до шести метров, горы снега обрушились на дома (очевидно, где живет беднота) и погребли под собой все. Позвонила Н.И., рассказала ей о трагедии в Южной Италии и моем отчаянии. Она в ответ стала говорить об успехах своей книги!

...Как же мне одиноко в этом страшном мире бед и бессердечия.

Если бы на всей планете страдал хоть один человек, одно животное, — и тогда я была бы несчастной, как и теперь.

Кто бы знал, как я была несчастна в этой проклятой жизни со всеми моими талантами.

Недавно прочитала в газете: «Великая актриса Раневская». Стало смешно. Великие живут как люди, а я живу бездомной собакой, хотя есть жилище! Есть приبلудная собака, она живет моей заботой, — собакой одинокой живу я, и недолго, слава Богу, осталось.

Мне 85 лет.

У меня два Бога: Пушкин, Толстой. А главный? О нем боюсь думать.

Увидела на балконе воробья — клевал печенье. Стало нравиться жить на свете. Глупо это...

Для некоторых старость особенно тяжела и трагична. Это те, кто остался Томом и Гекки Финном.

...У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собой — какое самоограничение.

...Бог мой, как прошмыгнула жизнь, я даже никогда не слышала, как поют соловьи.

«Я Бог гнева! — говорит Господь» (Ветхий Завет). Это и видно!!!

А может быть, поехать в Прибалтику? А если я там умру? Что я буду делать?

Собрал Александр Клейн